

## ПУБЛИКАЦИИ

### А. И. СТРОНИН ИЗ «ДНЕВНИКА»

*Подготовка текста и послесловие Н. П. Вишнякова*

Публикуемый фрагмент из дневника А. И. Стронина, подготовленный к печати еще в середине 1930-х годов Н. П. Вишняковым (1871—1937), не увидел света по двум причинам: во-первых, Тургеневский сборник, куда публикация была предназначена, не состоялся и, во-вторых, автор публикации 11 декабря 1937 года был приговорен, как и многие его современники, по ст. 58-6-8-14 УК РСФСР к высшей мере наказания. Об авторе публикации известно немного. Как сообщает «Ленинградский мартиролог 1937—1938 гг.» (СПб., 1999. Т. 4. 1937. С. 90. Сост. А. Я. Розанов), Н. П. Вишняков родился в г. Дмитриеве Курской губ., был беспартийным, из военного сословия (бывший генерал-майор). Позднее работал в Академии наук, проживал в Ленинграде по адресу: ул. Халтурина, д. 12, кв. 15. На момент ареста находился на пенсии. Приговор был приведен в исполнение 20 декабря 1937 года.

Машинопись публикуемого текста была передана М. П. Алексеевым Л. Н. Назаровой для очередного Тургеневского сборника (по-видимому, для выпуска 4, увидевшего свет в 1968 году), однако со временем решение М. П. Алексеева изменилось, о чем свидетельствует надпись на отдельном листке рукой Л. Н. Назаровой: «Не надо (по указаниям М. П. Алексеева). Л. Н. 26/VI 67 г.». В свою очередь Л. Н. Назарова, предоставив настоящую рукопись в распоряжение составителей настоящего сборника, настойчиво рекомендовала ее к печати. Мы воспроизводим публикацию в том виде, в каком она дошла до наших дней.

*Ред.*

**1879, марта 13 дня, девять часов вечера.** Вышедши на минуту из домашней жизни в общественную, я испытал такое впечатление, какого я никогда не забуду. Сегодня, в 5 1/2 часов, в ресторане Бореля давался, вероятно, в подражание Москве, обед возвратившемуся из-за границы Тургеневу. На обеде присутствовали исключительно литераторы, ученые и художники. Не знаю, почему Спасович счел нужным указать Гайдебурову пригласить и меня: вероятно, ради вящего количества, ради большего числа и большей торжественности овадий. Я не отказался, а принял приглашение охотно. Я отнесся тем более сочувственно к этой затее, что мне симпатична, и может быть, даже родственна участь бедного Тургенева, которого невежественная либеральная челядь за одно

слово «нигилисты») заподозрила во вражде к молодому поколению, вражде к лучшим идеалам общества, и вследствие того — затоптала в грязь. Оскорбленный этим гнусным подозрением, он бежал из России, скитался по разным углам Европы и кончил, наконец, публичным обещанием никогда больше не писать.

Словом, я готов был не только быть на таком обеде, но сказать даже, если будет кстати, речь. И вот я пришел. Прежде всего меня поразила неумелость распорядителей обеда. Вместо того чтобы уставить столы кругом или в виде буквы П, распорядились вытянуть весь стол в одну узкую и бесконечно длинную линию, так что от одного конца до другого невозможно докричаться обыкновенною глоткою. Во-вторых, вместо того чтобы сделать более или менее тщательный выбор, наклевали человек сто, если не больше, [лишь бы только бы была зна<чительность?>] вероятно для вящей торжественности. Условия, одно — физическое, другое — нравственное, которые очень плохо содействовали действительности торжества. Но вот, наконец, появился Тургенев со свитою, и публика, закусившая слегка, уселась за бесконечный, похожий на глиста стол. Сначала обед шел довольно чинно. После супу раздался звон ножа об ложки и об стаканы: — это был знак, что кто-то хочет говорить. Встал Спасович.

Во время речи все сидели на местах и слушали довольно чинно и в молчании: единственный оратор, на долю которого выпало такое счастье. Но зато как же он воспользовался этим удобством и чего наговорил он там!.. Я слышал его не раз; слышал и в суде, и в обществе, и в комиссиях, и в застольных речах, и никогда не слышал, чтобы он был до такой степени ниже себя. Во-первых, у него всегда есть логичность и последовательность; — здесь не было никакой нити, которая бы явно соединяла всю его речь. Во-вторых, у него всегда являются образы, тропы, фигуры, но обыкновенно они являются изредка, от времени до времени, и оттого кажутся естественными и за волосы не притянутыми; теперь же не было строчки без фигуры, не было фразы без словесного украшения, так что это превосходило всякую естественность и натуральность речи. Эта речь его не была похожа на естественность и натуральность речи. Эта речь его похожа была на дом Мурузи, где нет ни одного места на стенах без орнаментов, где пальцем негде ткнуть, чтоб не попасть в метафору, и где [только крайне грубый вкус] может найти себе удовлетворение только вкус крайне грубый. Наконец, в довершение всего, говоря обыкновенно с трудом, с остановками и медленно, на этот раз он мчался на курьерских, спешил изо всех сил, точь-в-точь как дьячок, которому во что бы то ни стало надо поскорее окончить. Я голову даю на отрез, что он наперед написал и заучил все свои фразы. Все это вместе производило впечатление неискренности, чувства подогретого, речи на заказ. Не говорю уже о содержании, об этом громождении лести на лесть, об этой подлейшей и неумереннейшей лстивости [в глаза и] прямо в глаза и без всякой пощады для скромности и достоинства того, к кому обращаются. Как бы то ни было, но



А. И. Стронин. 1876 г.

[орнаменты] риторика сделала свое дело: многие отдельные орнаменты [из них] ее, равно как и некоторые либеральные намеки (например, на ночь, среди которой мы сидим), произвели свое действие и вызвали аплодисменты. Так или иначе, но до сих пор соблюдены были по крайней мере чинность и приличие обстановки. Но вот после другого блюда подымается другой оратор. После другого блюда некоторые выпили уже достаточно и начали церемониться меньше. Благо, нашелся предлог, что говорит человек недостойный — Панаев. И так, чтоб показать, что он недостойный, оказалось нужным и себя вести недостойно. Вследствие этого на обоих концах стола [громко разговаривают] стоит громкий гул от говора. Оратор, сколько ни кричит, но его не слышно; не знаю, слышал ли его Тургенев, но я не мог расслышать ни одного слова. Напрасно я обращался к соседям моим; напрасно силился внушить, [что тут дело не в Панаеве, но в Тургеневе] что кто бы и как бы ни говорил, но невозможно же, по крайней мере для интеллигенции, уважать в человеке не человека, а [один] только авторитет; напрасно силился доказать, что это взгляд чиновничества, а не интеллигенции и что, наконец, тут речь идет не о Панаеве, а о Тургеневе и об нас самих, — ничто не находило отклика, и сам даже Корш, этот гуманнейший Корш, и тот [отвечал мне] извинял публику тем, что в ней много жидов и семинаристов, да тем еще, что Панаев требовал к себе дочь [от жены] через

Третье Отделение [да тем еще, что тут много жидов и семинаристов]. Но зачем же его позвали сюда? Что-нибудь одно из двух: или не зови, или позвавши — терпи. Наконец, можно было даже и протестовать достойнее: безмолвием и тишиною, а не шумом и гамом.

За третьим, за четвертым блюдом, за третьим и четвертым спичем не нужно было уже и предлога. Говорили авторитеты, говорил Костомаров, профессор Градовский, профессор Таганцев, но половина гостей и знать не хотела, что там говорится: шум и гам стоял над толпою непрерывно. К счастью, Костомаров был очень краток, пожелав Тургеневу только вечной славы, а сочинениям его вечного бессмертия. От Градовского я только и видел, что он рубил правою рукою воздух изо всех своих сил. Таганцев играл на теме, что Тургенев наш учитель. Однажды только послышалось нечто живое, когда заговорил Григорович, заговорил о Тургеневе как человеке, а не писателе. Но и тут те, кто хотели слушать, должны были бросить места свои, — столпиться к центру стола, между тем как остальные, то сидя, то прогуливаясь близ своих мест, продолжали разговаривать полным голосом. Говорили еще человек десять, но кто это были, кроме Кавелина, и что они говорили я уже решительно не знаю, хотя и сидел молча, а иногда даже и вставал, и на цыпочках подходил к тому месту, где говорилось.

Но вот, кроме бесчинства, начинается теперь прямой балаган: собирается говорить скоморох Горбунов и для того взлезает на стул, чтоб было виднее его. Но так как и это не помогает и гам стоит неумолкаемый, то он кричит во всю глотку: «Тише! Прошу молчать!». [Выходки эти производят взрыв] То же повторяет он несколько раз и среди своей речи. Выходки эти производят каждый раз взрыв хохота. Слышно, что хохочет и сам Спасович. У меня сердце сжимается, и я думаю: бедный Тургенев! не хотел бы я быть на его месте. Лучше провалиться сквозь землю, чем испытать такое торжественное чествование. Но вот, наконец, чтоб покончить чем-нибудь, он встает и начинает говорить сам. [Все столпились вокруг] Повыскакав со своих мест, большинство столпилось вокруг него, [потому что иначе] и что же? Невозможно слышать и его. Я сам набросился на двух разговаривавших и думал призвать их к молчанию словами: «Господа! Тургенев говорит!». Но ничуть не бывало: они продолжали очень живо разговаривать. [Тургенев] Не могу уже дать себе отчета, как и когда обед кончился. Но когда я осмотрелся, — Тургенева уже не было, он куда-то скрылся; половина гостей еще сидела за столом и доканчивала обедать; другие [уже] прохаживались и курили. Увидев, что торжеству конец, я схватил поскорее шапку и выбежал вон.

Добавляю теперь ту мысль, которую я думал провести в моей речи. После Спасовича я еще не терял надежды; мало того, я еще ободрился, вполне уверенный, что скажу не хуже; и ждал только, пока выговорятся авторитеты. Но еще прежде, чем они выговорились, я уже увидел, что для меня это решительно невозможно. Мне казалось чем-то позорным затесаться [в подобную ораторскую компанию] в ораторы при подоб-

ной обстановке. А с другой стороны, слыша вокруг себя подобный шум, я непременно сел бы не окончивши: я не так мало щекотлив, как Горбунов. А потому я махнул рукою и отказался от всяких притязаний. Имел же я сказать приблизительно следующее:

«Милостивые государи! Мы говорили до сих пор о нем; позвольте сказать несколько слов о нас. Не впервые уже приходится замечать, что над нашей литературой и ее избранниками царит какой-то гневный фатум. Одни из них гибнут под пулей или ножом, как Пушкин, Лермонтов, Грибоедов; другие сгорают от собственного их огня, которому некуда деться, как Белинский или Добролюбов; третьи переживают себя, как Гоголь; четвертые экспатрируются или бывают экспатрируемы. Но в настоящую минуту меня занимает не общее явление, а один из частных его случаев. Есть у меня в виду случай, где не было ни пули, ни смертельной болезни, ни переживания себя, ни даже, по-видимому, принужденного экспатрирования; а между тем все-таки было сказано: „Довольно! Я кладу перо мое!“ и между тем все-таки человек бежал из любезного отечества, и если по временам навевался в него, то [разве] только затем, чтобы снова бежать [и бежать] от него. Что же за причина тому?.. Не верится, чтобы, знача что-нибудь в стране своей, можно было избегать ее как отравы. Не верится, чтобы, чувствуя в себе силу, можно было добровольно заграждать уста ей. Итак, что же, какая же темная сила гонит его: „судьбы ли решение, зависть ли тайная, злоба ль открытая, или на нем тяготит преступление или друзей клевета ядовитая?..“ Но ничего этого нет: нет ни той темной силы, которая гналась за Овидием, ни той, которая гнала Байрона... Что же, наконец, это за сила?

Бывают, мм. г., в жизни друзей и вообще любящих друг друга людей (и чем ревнивее любят они, тем чаще), бывают минуты, когда одному из них пригрезится в другом то, [чему] чего тому и на мысль не впадало. [Ревнивое до щеко<тливости>] Оскорбленное подозрением чувство не допустит в первую минуту даже объяснений такого недоразумения. Но стоит только пройти первой минуте щекотливости, чтобы ложь обнаружилась сама собою и чтобы люди, с словом „прости“ на устах, бросились друг другу в объятия. То же, как мне кажется, может случиться между публикой и ее любимым автором, между печатью и любимым предметом ее критики.

Мне припоминается по этому поводу сказка, которая казалась мне крайне фантастичною, когда я читал ее, а теперь кажется чуть не былью. Некто был восхищен от земли кем-то, имевшим, по-видимому, образ женщины. Ни очертаний, ни форм ее не было видно, но чувствовалось, что существо [ее] это было женственное. Она жалась к своему восхищенному, ласкала его, ластилась к нему, лобзала его; и в то же время с страшной стремительностью то уносила его вверх, то опускала вниз, так что дух у него захватывало. А он, в свою очередь? ему было и страшно, и в то же время любо; он одинаково боялся и летать вместе, и остаться одному. Он также не знал, любит ли она его или же ненавидит.

Господа! мне кажется, что я знаю [имя] их, знаю имя и ей, и ему. Мне кажется, что знаю я и ту темную силу, которая носила их в безвестном пространстве: это — сила ревнивого и оскорбительного недоразумения, пока нет слова „прости!”.

Но если так, то у сказки недостает естественного конца ее. Чтобы кончить ее, надо, чтобы эта безымянная „она” опустила его, наконец, на землю и, пожалуй, поставила его среди нас. Надо, чтоб она сказала ему: прости меня! Возврати себе родину и родине возврати себя! Сними с твоих уст обет молчания и расскажи, напротив, все, что за это время ты передумал и перечувствовал обо мне.

По крайней мере, за такой конец сказки я подымаю теперь бокал мой!».

Вышеприведенные страницы взяты из до сих пор не опубликованного обширного (8 больших томов, около 2000 страниц) «Дневника А. И. Стронина», хранящегося в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (Ф. 752. № 8. Л. 600 об. — 605 об. VI тома), который он начал вести в 1848 г.

Автор «Дневника», Александр Иванович Стронин (20 февраля 1826 — 29 января 1889), является ныне мало известным, но в свое время довольно видным общественным деятелем и литератором.

Сын крепостного, отпущенный на волю в 1837 году своим баринном, кн. Б. Н. Юсуповым, уроженец украинской части старой Курской губ. (слобода Ракитная), он окончил 2-ю киевскую гимназию (1844) и словесный факультет Киевского университета со степенью кандидата (1848). Около полутора десятков лет своей жизни он посвящает педагогической работе в качестве учителя русского языка и истории в разных уездных училищах и гимназиях Украины (Каменец-Подольск, Немиров, Константиноград, Новгород-Северск, Полтава). Время его пребывания в Полтаве (1855—1862) совпало с эпохой подъема русского общества после мертвенных годов царствования Николая I, и Стронин с жаром стремился проводить в жизнь новые идеи: участвовал в устройстве воскресных школ, в организации в Полтаве женской гимназии и во всякой просветительской работе (публичные лекции, чтения для народа и т. д.); побывал он за эти годы и за границей, познакомился в Лондоне с Герценом. В 1862 году эта кипучая освободительно-просветительская деятельность была насильственно прервана, сперва увольнением от службы «по воле начальства» (24 июня), а потом — обыском и арестом (3 сентября), после чего он был увезен в Петербург, посажен в Петропавловскую крепость (в Алексеевский рavelин), привлечен к делу «о распространении малороссийской пропаганды» и выслан в Архангельскую губернию (январь 1863 г.) на неопределенный срок, с отдачей там под строгий полицейский надзор.

Ввиду отсутствия в отдаленных местностях в то время образованных людей, он скоро был допущен к исполнению обязанностей дворянского заседателя, судебного следователя и уездного судьи в Мезени, Пинеге, Архангельске, Шенкурске. К этому периоду относится его сближение с известным этнографом и статистиком, тоже административно-высланным, П. П. Чубинским (1839—1885). В 1869 году (май) он был освобожден от ссылки и надзора, уехал в Петербург, где сперва служил в Государственном контроле, потом был присяжным поверенным (1871—1873), служил по министерству юстиции в северо-западном крае (1873—1877), а затем — в министерстве путей сообщения (1877—1887), где был юрисконсультом министерства и членом совета министра, дослужившись до чина действит. статского советника. «Генеральства» и «степеней известных» Стронин добился без всяких протекций и связей, исключительно благодаря своему уму, работоспособности и энергии,

но, конечно, путем отказа от «политики», оставшись, впрочем, до конца дней убежденным «либералом» и «человеком 60-х годов». В октябре 1887 года Стронин по тяжелой болезни (туберкулез легких) должен был оставить службу, поселился в Ялте, где через два года и умер.

Литературная деятельность Стронина значительна по объему и разнообразию. Главным его интересом была социология, которую он занимался всю жизнь и которой он посвятил три больших труда: «История и метод» (СПб., 1869. 446 с.), «Политика как наука» (СПб., 1872. 530 с.) и «История общественности» (СПб., 1885. 767 с.). Стронин органической теории строения общества, пришедший к ней вполне самостоятельно (труды Г. Спенсера появились в свет одновременно с первыми работами Стронина), и применения в социологии метода аналогий, он вызвал своими взглядами, проводившимися им с крайней последовательностью и энергией — без боязни сделать все логические выводы из своей доктрины, рассматривающей общество как организм, — ряд резких отзывов Н. К. Михайловского, Е. де-Роберти, В. Д. Спасовича, Н. И. Кареева и др. Немало работал Стронин и как публицист, издавая отдельные брошюры (Франция или Германия. СПб., 1870; Мир или война? СПб., 1879; Анекдотическая история текущей войны. СПб., 1877) и сотрудничая во многих газетах («Санкт-Петербургские ведомости» Корша, «Новое время» (1876—1877), «Биржевые ведомости» и «Молва» Полетики (1877—1879), «Русская правда» Гирса (1879—1880) и мн. др.), причем всегда был выразителем прогрессивных тенденций и ревностным проповедником своих научных взглядов.

Другая область литературы, которую с любовью занимался Стронин, — это поэзия. Он сам много писал, преимущественно лирических вещей, но из скромности ничего не печатал. После него остался в рукописи, кроме того «Дневника», о котором было сказано, еще «Дневник в стихах» (97 с.). Очень любил он Байрона, много читал его в подлиннике и даже в 1885 году издал свои переводы некоторых пьес великого английского поэта, но опять-таки из скромности под псевдонимом: «Байрон в переводах Алеко» (СПб., 1886. 99 с.), где, кроме 54 переводов стихотворений (Еврейские мелодии, стихотворения, посвященные Наполеону и др.), напечатал и интересную свою статью «Байронизм как форма» (С. 83—99). Вот как отзывалась об этих переводах современная критика: «Одно можно сделать замечание переводам Алеко — это то, что стих у него не везде выдержан, и в метрическом отношении переводам этим можно пожелать большей стройности и мелодичности. Но эти внешние недостатки выкупаются необыкновенной добросовестностью и точностью передачи мысли и образности, а равно и поразительной сжатостью стиха: мелодию стиха г. Алеко подчиняет дословности перевода» (*Мордовцев Д.* <Л.> // *Новости*. 1886. № 91). Эти переводы из Байрона, по-видимому, остались неизвестны С. А. Венгерову: в изданном под его редакцией трехтомном Байроне («Библиотека великих писателей»), несмотря на стремление дать полную библиографию переводов Байрона на русский язык, к книге Стронина и его переводах не упоминается.

Другой поэтической симпатией Стронина был Некрасов. Он его любовно изучал и напечатал о нем (под псевдонимом «Читатель») большую статью: «Некрасов и его критики» в «Северном вестнике».

Наконец Стронин выступал и как талантливый популяризатор, издав ряд книжек для массового читателя (под псевдонимом «А. Иванов»), выдержавших по нескольку изданий: по естествознанию — «Рассказы о земле и небе» (1-е изд. в 1873 г., 7-е в 1902 г.), «Рассказы о силах земных» (1873), «Рассказы о жизни земной» (1873), «Рассказы о человеческой жизни» (1873); по экономии и праву — «Рассказы о царстве Бовы Королевича» (1873 и 1902).

Не будет излишним добавить, что после Стронина остались еще в рукописях (также хранятся в Российской национальной библиотеке) его переводы «Божественной Комедии» Данте («Чистилище» и «Рай»), отрывки из переведенных им «Дон-Жуана» и «Бронзового века» Байрона, оригинальная поэма «Камень Ала-

ть» («Богатырская сказка в 12 былинах») и два рассказа в прозе: «Уездный импровизатор» и «Поэт поневоле».

«Дневнику» А. И. Стронина, из которого взяты записи о Тургеневском обеде, представляет собой крайне любопытный человеческий документ. Взяв к своему «Дневнику» эпитафию из Лермонтова: «История души человеческой, хотя бы и самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, когда писана без тщеславного желания возбудить участие и удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям» («Герой нашего времени. Журнал Печорина. Предисловие»), Стронин очень искренно и без всякой пощадки к самому себе подробно излагает все, даже самые интимные события своей жизни и свои чувства и настроения. Это дает богатый материал для психолога и художника. Но страниц, имеющих исторический интерес, в обширном «Дневнике» очень немного. Кроме вышеприведенных записей, большой интерес имеют его записи об аресте, следствии, суде и ссылке, несколько страничек о событиях 1882 года и о его борьбе с цензурой (о Феоктистове в 1885 г.). Но такого рода записи составляют едва ли одну двадцатую часть всего большого дневника; это отчасти объясняет, почему этот дневник до сих пор не издан. Несколько страниц были вырезаны из дневника самим автором и им уничтожены.

До конца своих дней, несмотря на сложные перипетии своей жизни, он все же в общем остается убежденным приверженцем материалистически-атеистического мирозерцания. Очень характерна последняя перед смертью его запись в «Дневнике в стихах» (28 июля 1888 г.):

Если б был я, как мне ты сулишь, бесконечным,  
То уж кстати б и безначальным я был.  
Если б мог сознавать я себя после смерти,  
Почему до рожденья сознать бы не мог?  
Если б был я без плоти все тот же, что с нею,  
Без духа я был бы все тот же, что с ним.

Основные данные о Стронине и более или менее полные библиографические указания о нем можно найти в «Отчете Имп. публ. библиотеки за 1891 г.» (С. 59—62); в «Русском биографическом словаре», том «Смеловский-Суворина» (СПб., 1909. С. 542—546) и в био-библиографическом словаре «Деятели русского революционного движения» (1928. Т. 1. Ч. 2. С. 394—395). Портреты Стронина имеются в его рукописном наследстве, в Российской национальной библиотеке.

Обед 13 марта 1879 года, о котором рассказывается Строниним, был одним из звеньев длинной цепи оваций Тургеневу во время приезда его в Россию в феврале и марте этого года. М. К. Клеман уже вполне правильно указал, что все московские и петербургские чествования Тургенева, и, в частности, обед 13 марта, был двухсторонней демонстраций либералов — по адресу и правительства, и революционеров. Обоим этим противникам либералы старались показать свою силу в тогдашний момент, «запугать» их, привлечь к себе симпатии всей интеллигенции, знавшей и любившей Тургенева как писателя-художника.<sup>1</sup> Это мнение вполне подтверждается при детальном ознакомлении с составом участников обеда 13 марта, речами их и теми инцидентами, которые на нем разыгрались. Участниками обеда были до ста человек петербургской «либеральной» интеллигенции. Среди них можно различить несколько группировок.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Тургенев И. С. Соч.: В 12 т. Л.; М., 1933. Т. 12. С. 549 (примеч.).

<sup>2</sup> Во всем последующем изложении использованы отчеты и заметки об обеде 13 марта всех петербургских и московских газет и журналов (СПб Вед. № 74, 77; Н Вр. № 1092, 1094, 1096, 1098; Голос. № 74; Молва. № 72, 74, 75; Новости. № 67, 70; Современность.



Во-первых, небольшое число сверстников и приятелей Тургенева, «людей соколовых годов» — Д. В. Григорович, К. Д. Кавелин, Ф. М. Достоевский, Н. И. Костомаров, А. Н. Майков, А. А. Потехин. Далее идут представители официальной науки — ректор университета А. Н. Бекетов, проф. Н. С. Таганцев, проф. Н. П. Вагнер, академики Я. К. Грот, М. И. Сухомлинов, П. Л. Чебышев, А. Н. Савич, В. П. Безбородов; потом — художники, музыканты, артисты — также в небольшом количестве: А. И. Куинджи, В. Е. Маковский, Н. Н. Каразин, В. В. Самойлов, Н. Ф. Сазонов, И. Ф. Горбунов, М. Г. Савина,<sup>3</sup> И. А. Мельников, Г. Г. Коросов-Геринг, Г. А. Лишин (композитор и поэт, псевдонимы — Г. Навлянский, Лиган). Вся остальная масса чествователей (кроме А. С. Суворина — уже изменившего в то время либерализму Незнакомца, Э. И. Пильца — редактора в то время варшавской газеты «Nowiny», бесцветного В. Р. Зотова) состояла из видных петербургских либералов чистой воды, возглавляясь В. Д. Спасовичем, А. Д. Градовским, В. Ф. Коршем, Л. А. Полонским, Г. К. Градовским («Гаммой»), В. А. Полетикой, П. А. Гайдебуровым, Л. Е. Оболенским.

Организаторами и распорядителями обеда, равно как и составителями списка приглашенных, были Спасович и Гайдебуров; члены этой же группы говорили длинные речи (Спасович, Градовский, Л. Полонский, Гайдебуров, Оболенский, читавший стихи, и др.). Одним словом, «либералы» явно преобладали, задавали тон и руководили всем чествованием. Хотя газеты того времени уверяли, что «вся» петербургская журналистика имела своих представителей на торжестве, но это совершенно неверно: представителей «радикалов» — крайней левой печати — не было. «Отечественные записки» (М. Е. Салтыков, Г. З. Елисеев, Н. К. Михайловский и остальные постоянные сотрудники), по ядовитому замечанию суворинского «Нового времени», «блистали своим отсутствием». Не было никого и от редакции «Дела» (Г. Е. Благоветлова, Н. В. Шелгунова и П. Н. Ткачева) и «Слова» (М. А. Антоновича). Точно так же не был представлен и правый фланг печати (напр., «Русская речь» Н. А. Навроцкого). Цель, сущность и характер организованной петербургскими либералами демонстрации в виде обеда 13 марта довольно ясно видны из речи Спасовича, полностью напечатанной в «Вестнике Европы» (1879. № 4); речи других либеральных ораторов отмечены в тогдашней прессе лишь в самых общих выражениях.<sup>4</sup>

Беспорядочный характер обеда, мало культурное поведение многих участников, о чем с таким негодованием говорит в своем дневнике Стронин, не только не отмечены ни в одном современном газетном отчете, но, наоборот, все время говорится о «прекрасном» характере обеда (ВЕ), о необыкновенном единодушии («Современность») и т. п. Такого рода подкрашивание действительности диктовалось, очевидно, стремлениями придать больший удельный вес вселиберальной демонстрации.

Немалый интерес представляет отмеченный в «Дневнике» Стронина инцидент с Панаевым. Стронин не говорит, о каком Панаеве идет речь, но некоторые газеты

№ 32; Петербургская газета. № 73, 74, 76; Русские ведомости. № 68, 76; Развлечение. № 14; Стрекоза. № 14; ВЕ. № 4. С. 821—828; ОЗ. № 4. С. 219—231).

<sup>3</sup> Как удостоверяет А. Ф. Кони в книге «Тургенев и Савина» (1918. С. XXXI), неправильно относя обед к апрелю 1879 г.

<sup>4</sup> «Отечественные записки» нашли нужным объяснить отсутствие своих членов редакции и сотрудников на обеде тем, что редакция не была уведомлена об обеде «в честь И. С. Тургенева», на котором она непременно присутствовала бы, но так как в официальном приглашении было лишь указано, что состоится обычный ежемесячный литературный обед «с участием Т—ва», то редакция, дескать, не знала ничего о предполагавшемся чествовании приезжего гостя. Объяснение, явно шитое белыми нитками.

(«Петербургская газета» и «Молва») определенно указывают, что оратором, речь которого вызвала скандал, был Валериан Александрович Панаев.<sup>5</sup>

В. А. Панаев (1824—1899), инженер путей сообщения, строитель Грушевской (в Донбассе) и Курско-Киевской железных дорог, Панаевского театра в Петербурге (на наб. около Адмиралтейства, сгорел до революции), много писал по политическим и экономическим вопросам (*Emancipation des serfs en Russie*, 1858; Восточный вопрос. СПб., 1877; Финансовые и экономические вопросы. СПб., 1878; Бумажные деньги — товар // Русское обозрение. 1895. № 3—5 и др.), деятельно сотрудничал в газетах (*СПб Вед.*), издавал вместе с известным французским публицистом-историком и политическим деятелем Луи Бланом (1811—1882) в Париже журнал «L'homme libre» (1877), оставил интересные «Воспоминания», к сожалению, не напечатанные полностью.

Речь В. А. Панаева напечатана довольно полно в «С.-Петербургских ведомостях» (1879. № 74).<sup>6</sup> Приведем из нее главные места: «По всей вероятности, все здесь присутствующие прочли уже те теплые слова нашего гостя (Тургенева), с которыми он несколько дней тому назад обратился к молодому поколению в Москве. Поблагодарив молодое поколение за то, что оно протянуло руку старикам, он сказал: „Да, есть чему поучиться у старших“. По поводу этого правдивого слова я ставлю вопрос: чему же это именно можно поучиться у людей, если можно так выразиться, сороковых годов? Позволю себе высказать по этому вопросу мой взгляд в самых коротких словах. Говоря о стариках, И. С. Тургенев упомянул несколько имен и в том числе всем нам дорогое имя Белинского. Я останавливаюсь на этом имени... Но в чем заключается громадное влияние этого человека? Я позволю себе иметь некоторое право высказать по этому предмету мое мнение, ибо мне случилось прожить с Белинским 6 месяцев в одной комнате. Мне было тогда 16 лет... Белинский был человек без средств, без связей и без имени... имя автора было известно лишь в очень ограниченном кружке... Сила Белинского была в его прямом, искреннем, непосредственном, горячем и бескорыстном отношении к делу. Побочные, посторонние соображения или расчеты не могли изменить его взглядов, Сила влияния Белинского, независимо от его таланта, заключалась в его нравственных качествах. Но в своем влиянии Белинский обязан не одному себе. Никогда он не приобрел бы того громадного значения, какое имел, если бы он не был окружен людьми с тем тонким чутьем, которым отличались люди 40-х гг. Они оценили Белинского, они поддерживали его дух. Люди эти иногда нуждались целые месяцы для того, чтобы переводить книги с иностранных языков не для печати, а для того только, чтобы познакомиться Белинского, не знавшего иностранных языков, с тем или иным предметом. Ради чего же трудились эти люди? Конечно, не в расчете того, чтобы через сорок лет услышать сочувственный этому бескорыстному и благо-

<sup>5</sup> Кроме В. А. Панаева, в литературных кругах Петербурга были известны его родные братья: Ипполит Александрович (1822—1901) и Аркадий Александрович (1821—1889), с которым Валериана Александровича смешивали подчас даже современники (см., напр., книгу В. О. Михневича («Коломенского Кандида») «Наши знакомые. Фельетонный словарь современников» (СПб., 1884. С. 167). Так как об И. А. и А. А. Панаевых в энциклопедических словарях ничего не говорится, то не излишне сказать здесь несколько слов. И. А. Панаев, инженер путей сообщения, управлял хозяйственной частью «Современника» (с 11 августа 1856 до 28 мая 1866 гг.), был близким знаком с Некрасовым, составил 9 философских книг, изданных в 1878—1893 гг. под общим заголовком: «К рациональному мировоззрению» (в духе якобинства и фихтенианства). А. А. Панаев был адъютантом главнокомандующего во время Крымской войны, автор книги «Кн. А. Д. Меншиков» (СПб., 1878) и ряда трудов по иппологии. Все три брата были двоюродными братьями известного Ив. Ив. Панаева.

<sup>6</sup> Из речей участников обеда, кроме речи Спасовича, в полном виде приведены в печати еще речи Григоровича (*Н Вр.* 1879. № 1092) и К. Д. Кавелина (*ВЕ.* 1879. № 4).

родному труду отзыв. Одним из самых деятельных переводчиков для Белинского был и наш достопочтенный гость. Если бы кто-нибудь усумнился в правдивости моих слов, то я в состоянии рассеять его сомнения, показав огромные рукописи, сейчас у меня хранящиеся. Итак, господа, то, чему можно научиться у людей сороковых годов, это — чистому, бескорыстному служению делу. Сила их заключалась в их нравственных качествах».<sup>7</sup>

Почему же эта речь, как будто вполне безобидная, вызвала шумные протесты и даже вмешательство распорядителя Гайдебурова, подошедшего к оратору и потребовавшего прекращения ее? У Стронина указано, что во время речи Панаева раздался голоса, будто «он человек недостойный», а В. Ф. Корш сказал автору «Дневника», что «Панаев требовал к себе дочь через Третье Отделение» (т. е. через жандармские власти). С точки зрения строгой морали можно, конечно, судить Панаева как «недостойного»: он был инженер-путеец, крупный подрядчик и строитель, участник концессионных грабежей своего времени, «на законном основании» наживший крупное состояние, но, во-первых, нет фактов, чтобы он был хуже других деятелей этого рода, напр., хуже владельца-плутукрата такого же типа В. А. Полетики (издатель «Молвы»), речь которого на обеде не вызвала никакого волнения, а во-вторых, мы имеем даже прямые указания, что при железнодорожном строительстве Панаев вел дело вполне «честно».<sup>8</sup>

Причина недовольства речью Панаева либерального большинства на тургеневском обеде ясно видна из статьи «Молвы» (№ 74). «В речи своей Панаев указал на отличительную черту деятелей сороковых годов: „чистоту намерений и вплоть до самоотвержения доходящее бескорыстное служение делу“... Все эти похвалы... делаются... для того только, чтобы под видом похвал прошлому воткнуть шпильку в своих теперешних противников. Тон и слова речи Панаева явились не похвалой людям сороковых годов, а только бранью тем из сидевших с ним за одним столом людям настоящего, которые не удивляются туманным теориям г. Панаева и не признают его творческой политики...». Иначе говоря, в речи Панаева либералы усмотрели намеки на их неискренность и двуличность, на то, что они, явно выдвигая чествования Тургенева как великого писателя, в то же время хотели дать понять *urbi et orbi* — и правительству, и революционерам, — что они крупная сила и с ними в тесном единении сам Тургенев, не только художник, но и политический деятель. К тому же речь Панаева была речью постоянного сотрудника в то время уже консервативных «Петербургских ведомостей», бывших в 1879 году в руках известного В. В. Комарова, ставшего несколько позже явно ретроградным деятелем. Таким образом, эпизод с речью Панаева должен быть поставлен в тесную и неразрывную связь с тем общим характером обеда 13 марта как политической демонстрации, который указан выше.

На этом обеде выступал с знаменитой речью генерала Дитятин И. Ф. Горбунов.<sup>9</sup> Стронин в «Дневнике» презрительно называет Горбунова «скоморохом». Это находит объяснение в том, что по общему складу своего ума и по строгой серьезности своего характера Стронин не любил шутки и не понимал ее. К тому же, как совершенно ясно из «Дневника», автор его совсем не слышал дитятинского тоста.

Еще два замечания по поводу «Дневника». Дом Мурузи (в мавританском стиле. — *Ред.*), с которым Стронин сравнивает речь В. Д. Спасовича, и поныне нахо-

<sup>7</sup> Об этом же В. А. Панаев подробно рассказывает в своих «Воспоминаниях», гл. VI и XXIII (*РСт.* 1893. № 9 и 1901. № 9).

<sup>8</sup> См.: *Дельви́г А. И.* Полвека русской жизни. Воспоминания. 1820—1870 / Ред. и вступит. ст. С. Я. Штрайха, предисл. Д. О. Заславского. М.; Л., 1930. С. 214—220.

<sup>9</sup> Полный текст ее приведен в т. 2, ч. 1 Полного собрания сочинений И. Ф. Горбунова. СПб., 1904. С. 9—11 и в издании Маркса 1904 г. (С. 304—305). Но и тут и там неверно указан год произнесения речи: в первом — 1878 г., во втором редактор — А. Ф. Кони — относит эту речь к 1880 г. (С. 60—61).

дится в Петербурге, на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля (б. Пантелеймоновской), являясь в архитектурном отношении одним из интересных домов старого Петербурга.

Непроизнесенная речь Стронина любопытна как показатель воззрений массового интеллигента того времени на Тургенева и на склонность объяснять его литературную судьбу от 60-х до 80-х годов простым «недоразумением».

Остается сказать несколько слов еще об одном эпизоде, имевшем место на обеде 13 марта, о котором, к сожалению, ни одним словом не упоминает Стронин. В конце обеда случилось столкновение И. С. Тургенева с Ф. М. Достоевским, подробности которого до сих пор еще не выяснены. В периодической печати 1879 года мы имеем три рассказа об этом инциденте, и все они плохо увязываются между собой.

Когда Тургенев прочитал свою ответную речь (текст ее имеется во всех «Полных собраниях сочинений Тургенева»), по рассказу внутреннего обозревателя «Вестника Европы» (К. К. Арсентьева), один оратор (Достоевский) так «заклучил свое обращение к нему: „Скажите же теперь, какой же ваш идеал? говорите!“ — и, не дождавись ответа, отвернулся и пошел прочь... И. С. Тургенев успел дать ответ, но этот ответ мог быть только видим находившимся вблизи, так как он ответил без слов: Тургенев опустил низко голову и развел руками. Правда, тут ничего и не оставалось, как развести руками; но общество было менее терпеливо, и со всех сторон раздалось восклицания, обращенные к Тургеневу: „Не говорите! Знаем!“ Чей-то голос попытался было взять сторону того оратора: „Нет, вы не знаете!“ — но был заглушен новыми восклицаниями. Тем и кончился этот характерный эпизод».<sup>10</sup>

Затем фельетонист «Новостей», «коломенский Кандид» (В. О. Михневич) передает этот эпизод так: «Среди общего одушевления к И. С. Тургеневу подошел Ф. М. Достоевский и со строгим, почти негодующим лицом, поставил ему вопросный пункт: „что такое и в чем заключается провозглашенный им идеал?“ Г. Достоевский настойчиво требовал сейчас же дать ему на сей пункт обстоятельное „показание“, но эта странная и неуместная выходка была встречена всеобщим протестом» (Новости. 1879. № 70).

И, наконец, в «Новом времени» (1879. № 1099) читаем такой рассказ: «Один известный писатель, совсем не западник, подошел к Тургеневу и прямо спросил его: неужели он воображает, что западные идеалы могут примирить всех и соединить? Если он это воображает, то должен допустить, что в видные политические деятели немедленно попадут гг. Поляковы и Варшавские как крепкие устои для западных условий».

Наконец, имеется рассказ и еще одного свидетеля — Г. К. Градовского, который в своей книге воспоминаний «Итоги» пишет:

«...Тургенев вынул из кармана четвертушку бумаги и прочел коротенькую речь... Взрыв рукоплесканий покрыл слова писателя, но громче их раздался шипящий злобный возглас Ф. М. Достоевского. Он подскочил к Тургеневу и с трудом передаваемо раздражительностью и злобою закричал: „Повторите, повторите, что вы хотели сказать, разъясните прямо, чего вы добиваетесь, что хотите навязать России!“ <...> Тургенев отшатнулся, выпрямился во весь свой рост, подавлявший небольшого и тщедушного Достоевского, и развел руками, тем жестом, которым выражается глубочайшее недоумение и негодование. „Что я хотел сказать, то сказал... Надеюсь, все меня поняли... А на ваш допрос, хотя бы и с пристрастием, отвечать не обязан!“ Таков был ответ Тургенева. „Поняли, поняли“, — раздалось голоса».<sup>11</sup>

<sup>10</sup> ВЕ. 1879. № 4. С. 822.

<sup>11</sup> Градовский Г. К. Итоги. Киев, 1908. С. 360—361. В своих воспоминаниях Градовский ошибочно относит обед литераторов и эпизод с Достоевским к осени 1880 г.

Из эпистолярной литературы известно письмо П. В. Анненкова М. М. Стасюлевичу от 16 апреля 1879 года: «Хорош Достоевский! Не распознал у Тургенева — идеалов и пожелал на обеде его — выставить его пунцовым драконом, каковые китайцы пишат на своих знаменах. Смелая мысль, не уступающая другой таковой же Салтыкова, который назвал „Новь“ водевилем с переодеваниями».<sup>12</sup> Но Анненков не присутствовал на обеде 13 марта, и его письмо только отклик на «Внутреннее обозрение» 4-й книги «Вестника Европы», о котором только что говорилось. Но странно, что об этом инциденте ничего не говорится в большом письме А. Н. Майкова к Достоевскому, писаном вечером 13 марта 1879 года, после самого обеда. Об обеде там говорится только вот что: «Вернулся я с Тургеневского обеда измятый, встревоженный, несчастный, одинокий. Фальшь и ложь, эмераз и глупость, одна и та же тема, словом, весь сумасшедший дом петербургской печати со Спасовичем во главе. Но это все ничего, все это так и должно быть, иначе быть не может, и меня бы это не помяло, не сделало бы несчастным. Заключительные слова Тургенева поразили и испугали меня: он говорил громко, как авторитет, повторяя то же, что и в Москве — такое нечто, что по-моему есть начало конца».<sup>13</sup> Далее в письме идут упреки Достоевскому за его «отречение» от Каткова, и о каком-либо разговоре с Тургеневым нет и слова.

У исследователей взаимоотношений Тургенева и Достоевского эпизод на обеде 13 марта совсем не упоминается.

<sup>12</sup> М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. 3. С. 367.

<sup>13</sup> См.: Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. П.; Л., 1925. С. 364—365.